

Глеб Иванович Успенский

Петькина карьера

В этот же приезд в деревню были у меня неожиданности и не только по случаю «урожая».

Вот, например, Петька – маленький нищий мальчонка – также весьма удивил меня неожиданной переменой в его жизни.

Смотрел я на Петьку и дивился – на нем новый картуз в сорок копеек, каляная ситцевая рубашка, а сапоги, хотя и отцовские, но посмотрите и полюбуйтесь, с какую необыкновенную развязностью отставляет он ногу в этом неуклюжем отцовском сапоге, полюбуйтесь, с какую ловкостью фабричного щелкает он семечки, как небрежно, фатовски выплевывает направо и налево скорлупу!

Право, Петька решительно неузнаваем с тех пор, как я видел его в последний раз, то есть года полтора тому назад.

Главное, что меня заинтересовало в Петьке, это не картуз и не каляная рубашка, а именно подъем духа, нравственное перерождение, которых я никак не мог объяснить себе! «Какая сила переродила забитого, загнанного, пришибленного Петьку и вдохнула в него душу живую?» – спрашивал я себя и, не находя ответа, обратился за разрешением вопроса к одному из крестьянских мальчиков, игравших в «рюхи» посреди лужайки, в то время когда я и Петька были посторонними зрителями этой игры.

– Федя! – сказал я. – Какой наш Петька-то стал!

– А ты как думал? Он, Петька-то, теперь деньги зарабатывает!

– Каким образом?

– Спички делает! Он теперь, Петька-то, фабричный стал! Ишь форсит! Свои деньги у него! Ишь семечек-то сколько! То и дело по карманам шарит, точно миллионщик.

Петька покосился в нашу сторону, поглядел на нас, и поглядел так, как будто хотел оказать: «а мне наплевать», и, изогнувшись набок, запустил руку глубоко в карман, а затем, поплеывая шелуху, продолжал забавлять себя зрелищем игры своих сверстников.

«Наконец! – подумалось мне. – Наконец и бедный Петька выбрался на свою дорогу! Нашел путь к своей, Петькиной, карьере!»

Он теперь, очевидно, навеки фабричный, машинный человек! Да и чем бы он был, бедняга, если бы не пришел какой-то шведский человек и не подобрал этих Петек, этих лишних людей крестьянства?

Скучно, страшно, холодно в захудалом дворянском доме, в захудалой дворянской семье, но в захудалой крестьянской семье страшно и холодно до ужаса! Какая угнетающая душу и мысль тоска и пустота, а главное, бессмыслица веет от этого хлама, который там и сям валяется на разоренном дворе! Что такое означают эти старые оглобли, эти два сломанных колеса, эта бочка, разошедшаяся и развалившаяся? Зачем этот пустой хлев, эти ворота на одной петле, эти пустые кадки, шайки с признаками корма и следами капусты? В доме нет *силы*, нет тепла, цели в труде, и весь этот хлам ужасает своею бессмыслицею, тяжеловесностью, топорностью, а главное – полнейшею невозможностью найти в своем сознании какую-нибудь связь бездушного хлама с удручающим испугом пред жизнью, пред белым днем, пред каждым живым человеком.

Петькин двор и Петькина семья были, на моей памяти, именно такими захудалыми. Не было в доме *силы на крестьянство*; были у Петьки и отец и мать, но не задалась их совместная жизнь. Не было в Петькином отце силы и страсти поднять «крестьянство». Его худое, долговязое, бессильное тело не было согрето

необходимым для крестьянства запасом огня, горячей страстью преодолеть, совладать с огромнейшим делом; он был какой-то простывший, а главное, сам отлично знал, что в нем нет силы, тепла, и был поэтому злой, недовольный всегда; он знал, что жена его, женщина двужильная, огненная, неоцененная для кипучей работы, должна с ним только измаяться, исчахнуть, «избиться» без толку, разорваться на части, ничего не сделав путного... И он едва ли не со дня своей женитьбы «чуял» всем существом своим, что из совместной жизни их ничего «не выйдет». Да не только чуял, он знал это твердо и с сердцем глядел, как огневая сила его бабы тратится в пустых амбарах, гремит в пустых горшках и бочках... «Не выйдет!» Этого не забывал он ни на минуту и, голодный, «пахнувший» водкой, был постоянно злобен и тогда, когда его баба рожала, и тогда, когда она хоронила, и тогда, когда радовалась теленку и когда металась как полоумная в минуты полнейшей нищеты. Он не бил бабы даже в пьяном виде, но постоянно носил с собою холодное отчаяние, холодное презрение ко всевозможным усилиям своей бабы оживить холодный и пустой дом. Страшно было смотреть на эту рослую, черноволосую, когда-то красивую женщину; она, очевидно, действительно потеряла возможность понимать свое существование; глаза ее широко раскрыты, волосы растрепаны, грудь ее расстегнута, и в таком виде она мечется и по дому и по деревне, выпрашивая пучок луку и таская на обеих руках по ребенку! Всегда она босиком, и даже не в ситцевой юбке «по-нонишнему», а в матерниной домотканной паневе, точно явилась с того света; и эту-то огневую бабу непрестанно «ополоумливал», так сказать, ее долговязый, холодный муж, замерзший внутренно для всякой надежды жить по-крестьянски. А если нет в крестьянском доме силы и огня для того, чтобы был в ходу весь механизм крестьянской жизни, – что же там остается? Обездушено и обесмыслено все до последнего котенка... Все не имеет смысла, и жизнь ужасна непроглядным ужасом бессмыслицы...

Петькин отец плотничал, но всегда случалось как-то так, что работа ему выпадала в самое неподходящее время. Всякую «настоящую» работу обыкновенно успевают переделать за лето плотники пришлые, люди, знающие свое дело. Петькину отцу всегда доставалось то, что не успели переделать плотники заправские, то есть мелочи и пустяки: вставить в окно косяк, исправить крышу, починить погреб. И всегда эта недоделанная работа доделывалась в самое неблагоприятное время, осенью, в холод, в мороз, в дождь и ветер. Сердитый осенний ветер и сердитый Петькин отец, оба, как на грех, всегда встречались вместе на ничтожном осеннем заработке; мороз точно нарочно сковывает и без того бессильные руки Петькина отца, и Петькин отец со злобой кое-как тяпает топором по дереву, ругая это дерево самыми отборными словами, а в ответ на эти ругательства ветер вырывает из-под бессильного топора и самое бревно. «Чорт! – слышится на такой работе, – дьявол тебя возьми». «Ишь чорт!» – говорит мужик, нанявший Петькина отца, глядя на его нескладную работу. «Ишь лысый чорт! – ворчит Петькин отец, косясь на мужика-заказчика, – за полтинник тебе столярную работу подавай!» И сделавши работу скверно, обруганный хозяином и обругавший хозяина в свою очередь, Петькин отец с бранью пьет в кабаке косушку, с бранью идет домой и в холодной избе, сам весь холодный и голодный, сердито дышит холодной сивухой, ругаясь на всех и вся и лежа на холодной печи.

На такой именно нескладной и скверной работе Петькина отца увидела впервые Петьку наша учительница. Гуляла она с детьми в холодный морозный день и смотрела, как Петькин отец ругается на какое-то дерево, которое не поддается тупому топору, и как он с сердцем плюет на топор, который не рубит. Тут же стоял и смотрел на работу своего отца и Петька. Он был одет в лохмотья, лицо у него было зеленое, тощее и сердитое.

Два дня работал у нас Петькин отец, и Петька постоянно толкался около него, щепки подбирал. Но и после того, как Петькин отец, по обыкновению сделав работу скверно, «разругался» и ушел, Петька продолжал являться на то место, где работал отец и где валялись щепки. Жалко было смотреть на него, маленького, рваного, озяблого, а главное, сердитого, «несимпатичного».

– Послушай, мальчик! – сказала ему однажды учительница через отворенную форточку. – Холодно тебе?

– Не! – ответил Петька сердито и не сразу, а помолчав.

– Как «не»? Видишь, как ты плохо одет... Что, мать-то любит тебя?

Сердито отпихнулся Петька в правый бок и сердито сказал:

– Не!

– А отец?

И в левую сторону Петька пихнул себя сердито и еще сердитее сказал:

– Н-не!

– А ты кого любишь?

Петька только нос утер рваным рукавом.

– Стало быть, тебя никто не любит?

Ничего не отвечал Петька.

– Хочешь, я тебя буду любить?

Петька молчал.

– В гости ко мне будешь ходить? а? хочешь? Рассказывать тебе буду... а? Гостинцев дам?

Много всяких благ насулила учительница Петьке и в конце концов достигла цели.

– Н-ну, – начал Петька неприветливым и суровым голосом, неохотно и медленно поворачивая голову к форточке, – н-ну... люби... когда хошь!

«Когда хошь» в устах Петьки было то же самое, что в устах его отца было: «чорт!», «дьявол!» – слова, которыми он, вслух или про себя, всегда заканчивал как начало неудачной работы, так и ее всегда неудачное окончание.

И с этого дня Петька стал ходить к нам в гости вместе с другими деревенскими мальчиками, но между ним, захудалым потомком захудалого крестьянского рода, и другими, настоящими крестьянскими ребятами, являвшимися «погостить» прямо с работы, с мельницы, из лесу, с сенокоса, – была неизмеримая разница.

Настоящий крестьянский ребенок не застенчив и не робок; он входит «к господам» без всякого подбострастия или зависти, а так же свободно, просто и единственно только с любопытством пытливого человека, с каким он входит в лес, удивляясь, наблюдая и изучая все останавливающее его внимание; в комнатах господ, с картинами, цветами, книгами, он так же чувствует себя только наблюдателем любопытного, как и тогда, когда он, засучивши штанишки, идет в речку, не зная, глубоко там или мелко, но идет все дальше и дальше, хватая по дороге какую-то рыбку, вытаскивая из-под подошвы рака и рассматривая его со всевозможным вниманием. Точно так же независимо, свободно и просто, повинувшись единственно любопытству, ведут себя настоящие крестьяне-дети и в гостях у господ. Рассматривают книжки, делают откровенные замечания о картинках, словом, «любопытствуют». Не так вел себя и не то ощущал на душе Петька, появляясь у нас в гостях. Он, как и отец его, чувствовал себя как бы выходцем из пустого места, не от дома, не от дела, а именно из пустого, холодного места; и он картинку рассматривал, но в душе у него ощущалось только отцовское отчаяние. «Не надо!» – говорило его зеленое, истощенное, неприветливое лицо... «Смотри не смотри, – казалось, постоянно думал он, – а толку никакого нет и не будет!» И гостинцы он ел, как и все, но эти «все» обогащались новым ощущением вкуса: «скусно, скусней земляники!», Петька же съедал без всяких обобщений и умозаключений, а так, зря, без толку и удовольствия. Ходил он к нам часто, но

постоянно был недоволен, постоянно у него было мрачное лицо, постоянно он смотрел как-то наискось в землю и, видимо, был одновременно и сердит, и огорчен, и чувствовал в душе отчаяние и злость.

Приготовлялись делать елку. Куча ребятишек клеила коробочки, вырезывала звезды. Суета между ребятами шла самая оживленная. Петька также присутствовал среди ребят, присаживался к ним то там, то сям, медленно переходил с одного места на другое, тяжело стуча по полу своими неуклюжими сапогами, но не слышно было, чтобы кто-нибудь позвал его, крикнул: «Петька, иди! Подсоби!» Нет, никто в нем не нуждался. Петька был одинок. Как он пришел, что делал и как ушел, никто не видел, не заметил, и вообще никто не обратил на него внимания.

Но когда все разошлись, оказалось, что исчезли десять рублей, лежавшие где-то на столе. Сразу подумали почему-то на Петьку. Особенно тщательно исследовала дело прислуга, не желавшая, чтобы на ней лежала тень подозрения. Общий голос и подробные расследования прислуги окончательно убедили всех, что деньги украл Петька.

Ни сам Петька, никто из Петькиной семьи не протестовал громко против этого обвинения. Только Петькин отец как будто еще больше ожесточился, при встрече перестал кланяться и, проходя мимо нашего дома (увы! в *новом* картузе), смотрел на него ожесточенными глазами. Сам Петька скрылся и долго не выходил на улицу. Где-нибудь на задворках он одиноко копался в разном мусоре и сердился на нас.

Прошел год, совершенно забыли о Петьке. Вдруг совсем неожиданно, как раз перед елкой, является растерзанная Петькина мать. Эта теперь больная, но когда-то могучая женщина прибежала по обыкновению вся запыхавшись, с «ополоумевшими» глазами, с раскрывшейся грудью, в распахнутом домотканном бабьем армяке, с рваными рукавами и подолом, изорванным до бахромы. Она прибежала в первый раз, неведомо зачем, и потребовала хозяйку.

– На, возьми моего петуна! – с каким-то отчаянием в голосе и во всей манере сказала она, выхватив из-под армяка тощего старого петуха. – На! Бери! Бери, сделай милость!

– За что? Зачем?

– А помнишь, ономнясь-то?.. Петька-то мой?.. А ты думаешь, много нам из вашей десятки-то досталось? Родная! Всю ночь в ту пору мой-то злодей пил да ел. Пирог велел печь ночью-то... рыбы принес... Всю ночь ел да винище жрал, пока не повалился, как пес... Шапку купил, рубаху... Еле у пьяного-то трешку на ребятишек вытащила... На! бери, бери, сделай такую милость! Петун хороший... На! на! прости нас!..

И она, вместе с петухом, повалилась в ноги.

– Приголубь моего Петьку-то! Пущай опять ходит!.. Матушка, не оставь!

Петуха возвратили Петькиной матери, а Петьку потребовали сейчас же в гости.

– Иди, Петинька! Иди, мой соколик! – звала его обрадованная мать, выбежав сломя голову на улицу.

Там, на морозе, Петька дожидал матери. Но долго упрашивала она его, даже замахнулась кулаком, Петька упрямылся, так что в конце концов мать все-таки притащила его за рукав.

– На! Не гони его! Пущай поглядит!..

Петька вошел в комнату, не раздеваясь, остановился у двери, долго стоял – и ушел опять же так, что его не заметили... Теперь уже ничто не радовало его. На душе его лежало тяжелое бремя – «вор!», и это окончательно отталкивало его от всех.

С тех пор он не приходил к нам. Всякий раз, когда на дворе собирались играть дети, и Петька также, выходил из своей хибарки.

– Мальчики, позовите Петьку, что ж он один там!

Мальчики зовут его:

– Петька! Иди! Чего стал!

Но Петька делает несколько шагов – и станет... Игра продолжается, а Петька все стоит на одном месте, смотрит издали.

Не компания ему крестьянские дети! Нет у него с ними ничего общего! от всего он оторван и одинок!

И вот теперь одинокий, отторгнутый от всякой связи с белым светом, Петька воскрес! Он не в стороне от ребят, а тут, с ними, и хоть не играет, но наблюдает за игрой, и наблюдает не только без огорчения, без обиды, но, напротив, поза у него такая, что заставляет подозревать в нем даже смелость насмешки. Вот ведь как!

Каким же образом не воздать славу шведскому человеку, спичечному фабриканту, который воскресил Петьку?

– Федя! – позвал я опять знакомого мальчика. – Скажи, пожалуйста, что же Петька на фабрике делает?

– Коробки клеит.

– Почему же ему платят? Ну что, например, стоит одна коробка?

Федя подумал и сказал:

– Да одна-то она ничего не стоит...

– Как так?

– Да и вовсе ничего...

– Ну а десять коробок?

И опять подумал Федя, посчитал в «уме» и сказал:

– Они и десять ничего не стоят.

– Да как же так? Вот я сделал десять коробок – сколько я получу?

– Ничего тебе не дадут...

– Ну это вздор!

– Ничего не дадут! Тебе копейку дадут, ежели двадцать пять сделаешь. Четыре копейки сотня. Тут одна девчонка четыреста штук в день одолевает – вот проворная! Ну а Петька не может... Копеек на восемь, в сутки – ну, так.

Федя засмеялся.

– А ты говоришь, чего стоит коробка? Да она ничего не стоит... Вот какой есть товар!

«Восемь копеек в сутки, – подумалось мне, – это, конечно, маловато, но что же иное могло ожидать в деревне оторванного от деревни Петьку, крестьянина, лишенного сил и дарования быть крестьянином? На что и кому он нужен, сердитый, бессильный? Нет! Восемь копеек своевременно пришли к нему на выручку и вывели его на неизбежный для Петьки путь».

Восемь копеек – это только начало Петькиной карьеры. Зайдите-ка к шведскому человеку, открывшему спичечную фабрику, месяца этак через два после того, как Петька научился добывать по восьми копеек в день, и вы услышите от него, что он уже вынужден сбавить плату с четырех копеек на две.

Почему? Да потому, что Петьки навострились выделывать не по четыреста штук в день, а по полторы, по две тысячи. Такой день дорог для фабриканта, и он убавляет плату до двух копеек. И не думайте, пожалуйста, чтобы Петька подчинился этому мероприятию, нет, – «пусть две копейки дают, – говорит он себе, – я буду делать не две, а четыре тысячи в день!..» И будет делать четыре, и будет делать восемь, когда будут платить копейку!

Послушайте-ка, что говорит матка-то Петькина:

– Соколик ты мой! Ведь ты наш кормилец, кабы не ты – что бы мы стали? Золотые твои рученьки! Сохрани тебя царица небесная!.. За тобой, за родименьким, я и свет-то увидела.

– Дай, Петька, отцу-то пятак! – жалобно, хоть и с отцовским правом поступать с детьми грубо, говорит Петьке *его* отец. – Авось и моего в твое брюхо как-никак попадало...

– На, бери пятак! – говорит Петька.

Зная все это, разве в силах Петька, под какими бы ни было давлениями, отстать от своей работы?

Нет, это только начало! Умаявши в деревне шведского человека, Петька переберется в Питер и там начнет маять добрых людей. В деревне он начал превращаться в машинного человека, здесь уж он прилип к машине на веки веков: дни и ночи, месяцы и годы он не отходит от машины – тут в ней все его существование, тут слезы и радости мамыньки, тут тяткино счастье, тут, словом, вся Петькина жизнь, все содержание жизни, и здесь напряжение сил Петьки дойдет до высшей степени. Это напряжение пробьется сквозь всевозможные преграды: в деревне шведский человек только сбавлял плату, здесь же, в столице, изобретено уж множество других средств для подавления Петькиной жажды существования. Штрафы, начеты, перевод с задельной платы на поденную, с поденной – на задельную. И все-таки Петька преодолет и удивит своею живучестью!

Понявши, в чем заключается его единственное спасение, он не будет жалеть никаких администраций, напротив, будет постоянно ставить их в затруднительнейшее положение. Ему нельзя жалеть администраций. Почитайте-ко, что пишет из деревни «мамынька». Разве можно ему себя жалеть? И Петька, не жалея себя, не жалеет и администраций. Не жалеет он ни участков, которые приемлют его по праздникам в пьяном виде, не жалеет он городских, которые уж и без того руки обломали с этим народом. Надо бы его остановить в драке, свалить, связать, взвалить на извозчика и пхнуть в темную. Не жалеет он докторов, больниц, которым нет отдыха от этих измученных, худосочных, не то пьяных, не то чахоточных, израненных дракой, машиной, хозяйской выучкой... Вообще Петька сумеет намучить за мамыньку пропасть интеллигентного народа. Но, несмотря на эти муки и его надоедливую жизнь, можно совершенно понять те горячие слезы, которые польются из глаз Петькиной матери, когда, наконец, придет бумага, где будет сказано, что Петька перестал надоедать и с экстренным поездом железной дороги отвезен на Преображенку^[1].

1. Преображенка – Преображенское кладбище в Петербурге.

– И где же ты, солнышко мое золотое? И кто же теперь меня, старую, вспомнит, приютит! Дитячко мое...

Я, посторонний зритель Петькиной карьеры, весьма вероятно, не заплачу, но на прощанье с Петькой, припомнив всю его карьеру и все его добрые дела на пользу общества (спички, папиросы и т. д.), не могу не сказать:

– Спасибо, Петька! Царство тебе небесное! Поработал ты на всех нас до последней капли крови. Спи, бедняга!

Примечания

Рассказ был напечатан впервые в «Северном вестнике», 1886, XII. Два варианта автографов опубликованы в изд.: Г. И. Успенский. Сочинения и письма в одном томе, ГИЗ, М. – Л., 1929 (в настоящее время эти автографы утрачены). Все тексты рассказа – рукописные, журнальный, в Сочинениях – лишь незначительно расходятся между собою, за исключением конца рассказа, который имел несколько существенно отличающихся друг от друга редакций, отражающих колебания писателя в его размышлениях о роли и значении капитализма в судьбах русского крестьянства.

В первой рукописной редакции конца рассказа кратко говорится о дальнейшем движении Петьки по пути превращения крестьянина в городского «машинного человека», о его страданиях в смрадных подвалах Петербурга и неизбежной скорой гибели. Заканчивается рассказ воплем матери по поводу смерти Петьки: «И зачем я тебя, горемычного, родила?» и вопросом автора: «А как же без спичек-то?», то есть как же без технического прогресса, без фабрики, без капитализма?

Вторая рукописная редакция конца рассказа значительно полнее. Текст расширен введением новых мотивов: неравного «соревнования» Петек со спичечным фабрикантом; возрастающего значения Петьки в его семье; антагонистичности материальных интересов рабочего и фабричной администрации. Описание тяжелой жизни Петек в подвалах петербургских трущоб и их катастрофического вымирания дано более образно и подробнее. В концовке рассказа круг вопросов расширяется, и тема благодаря этому углубляется. К причитаниям матери над мертвым Петькой прибавляются ее недоуменные и горестные восклицания – из-за чего же мучился Петька на фабрике и как теперь без него она сможет жить. Вопросов автора тоже стало больше – он спрашивает не только о том, как же быть «без спичек-то», но и почему же все-таки должен погибать человек из-за спичек и как же теперь сможет жить мать без помощи и поддержки сына. Рассказ завершается предложением автора не трогать этих вопросов, а просто поблагодарить Петьку.

В журнальный текст не вошел весь конец рассказа, начиная с описания страданий Петек в городе. Этот конец был отброшен, очевидно, не по воле автора, потому что в Сочинениях он его восстановил, но, вероятно также по цензурным соображениям, сократил описания невыносимо тяжелых условий быта Петек в городе и их борьбы с различного рода городскими «администрациями». В концовке рассказа Успенский откинул все вопросы в причитаниях матери и авторские вопросы по поводу того, что же важнее – развитие капитализма или человеческая личность. В Сочинениях остается только благодарность писателя Петьке с пояснением, что в лице Петьки он благодарит рабочего человека за его тяжелый и безрадостный труд «на пользу общества».

В рассказе «Петькина карьера» Успенский, в противоположность народникам, дал выразительную картину нищей семьи безземельного крестьянина, разрушения натурального хозяйства деревни перед развивающейся силой «власти денег» и бегства крестьян из деревни в город за заработком.

По свидетельству сына писателя, Б. Г. Успенского, в основу сюжета рассказа положена подлинная история мальчика из деревни Сябринцы, Чудовского уезда, Новгородской губернии. «Около станции Чудово, – пишет Б. Г. Успенский, – в 80-х годах купец И. И. Лапшин построил спичечную фабрику, которую назвал в честь своей дочери «Ираида». Все дети из бедных крестьянских семей Чудовской округи, начиная с семи-восьми лет, работали на этой фабрике. Приказчики фабрики развозили по деревням лучинки и этикетки спичечных коробок и раздавали их для клейки по крестьянским семьям. Чтобы выработать десять – двенадцать копеек в день, дети до света садились за клейку коробок и кончали работу уже при керосиновом освещении. Коробки сушились в сетках, развешанных тут же, под потолком избы. Воздух в избах был промозглый, кислый от картофельного клея, сырой и тяжелый от обилия влаги. Промысел этот чрезвычайно вредно отражался на здоровье всей семьи, жившей в избе, а в особенности, конечно, на здоровье детей» (Глеб Успенский, Избранные произведения. Изд. «Московский рабочий», 1949, стр. 594–595).